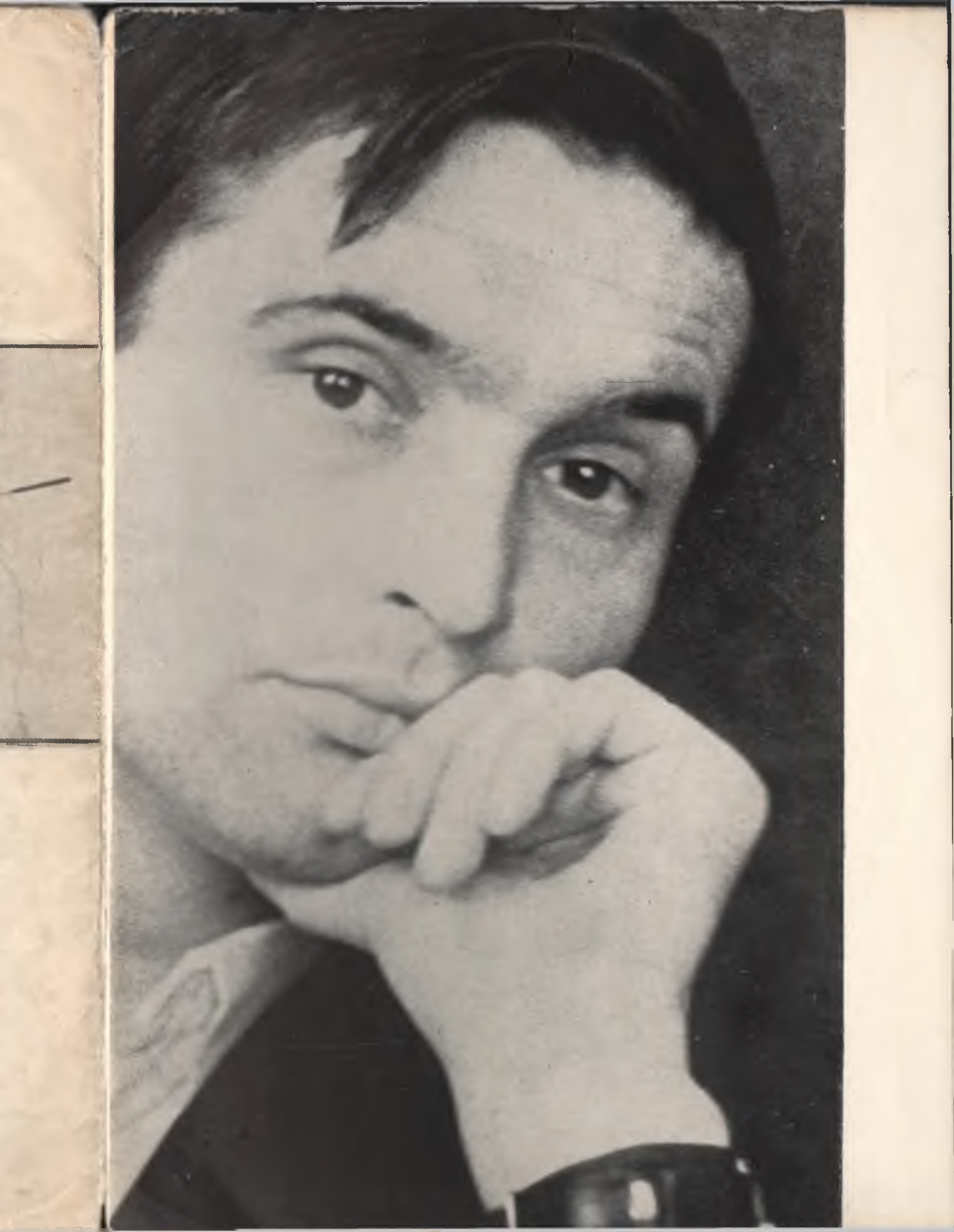
ОТ БИЛЛИНГСА ДО НОЛЬДА...



АНАТОЛИЙ ПЧЕЛКИН * СТИХИ *



АНАТОЛИЙ ПЧЕЛКИН



ОТ БИЛЛИНГСА ДО НОЛЬДА...

Прелюд

Улечу. Из себя. В Певек!
«Время в символах разобраться...»
Закажу на утро
билет.
Забегу к Шумковым:
— Привет!
До свидания, что ли, братцы?..

И легко растворюсь в пространстве.

Так уходят мужья в бега
от назойливых благоверных,
разминая свои бока
о леса и моря,
пока
не улягутся в норму нервы.

Не последний я и не первый!..

Счастлив тот, кто легко живет,
не с размахом, зато — с размаху!
Улетай хоть на целый год:
ни одна собака не ждет!
Я не стал покупать собаку.

И, по-моему, не дал маху...

Улетаю! Иду ко сну.
ИЛ-четырнадцатый — молодчик:
пять часов сорок пять минут
облака под собой молотит!

А сосед мне мозги морочит...

...Мотив

Пока самолет покачивает
дюралевые бока,
пока мой сосед покашливает,
уснуть пытаясь,
пока
лежат под крылом озера
и дрема царит во всем,
отчаянно,
беспризорно
я думаю вот о чем:

Сколько воздуха в мире,
сколько в пути начал!
В четырехстенной своей квартире
не за-ме-чал!

Забыл, что он может биться
в руках, живительный ток...
Меж пальцев моих струится
утренний холодок,

и льется рассвет сквозь пальцы,
и небо течет сквозь них.
Ну разве до этого докопаешься
в дебрях ученых книг?

Да стала б антинаучной
наука, возьми она
предметом для изучения
лишь мертвые письмена...

— Ах! — катятся тучи по небу.
— Ах! — как простор широк!..
И только б навек запомнить бы
все эти ***АХ*** *и* ***ОХ****!*

Заклинание

От себя,
от стола,
от кровати
смело взгляд отрывайте.
И на землю глаза открывайте,—
широко
открывайте!
Познавайте ее,
познавайте.
Нет, не поздно еще,
может быть, только чуть
поздновато.
Познавайте!
Врубайтесь в нее откровенно,
как упрямый топор входит в тело полена.
Не ленитесь.
Вставайте.
Ждет вас жизнь у сырого причала.
Вы ее познавайте,
познавайте с конца
до начала,
от заката
и до рассвета,
от падения
и до взлета...

Взлета!

Подранок

Между землей и небом,
между добром и злом
поземка машет снегом,
как выбитым
крылом.

А вслед за нею,
будто
подсумок волоча,
торопится избушка
Ивана Ильича.

Неужто
не догонит?..
Но сорок восемь лет
подранок все уходит
и заметает
след.

«...Идет тюлень, гребет тюлень
на сладкогласье кантилен...»

Илья Сельвинский

Патефон

Он патефон любил, как нерпа:
ведь был
единым слухом
зряч.
Злой келе не дал видеть небо —
просил:
хоть музыку не прячь.
И в час, когда заря крутая
вскипала на речной косе,
он уводил свой ящик тайно
подальше,
в сторону от всех.

Не понимаю,
что скрывал он?
Как слушал музыку зимой,
когда под снежным покрывалом
река
и берег,
а в самой
яранге —
дым трубой
и тесно:
собаки, дети, пастухи...
Ну как в ней слушать, скажем,
песни
или тем более —
стихи?..

Он патефон любил,
как нерпа.
Под шкурой утреннего неба
свой черный ящик открывал,
крутил скрипучую пружину,
кряхтел
и был доволен жизнью
(которой в общем-то не знал).

Иголка старая свистела,
и сквозь ее морозный свист,
просачиваясь то и дело,
Эдита Пьеха толсто пела
последней моды
тонкий
твист.

Он патефон
любил,
как нерпа.
И, засыпая на траве,
все ждал,
когда ударит небо
веслом по круглой голове.

Пурга

Пурга старожилов
любит,
как сука своих щенят.
Скупые на ласку люди
тоже ее щадят.
Не проклинают всуе,
а, воротясь в дома,
в стеклянные пригоршни дуя,
крякают лишь:
— Зи-ма!
Зверская заваруха,
такую денька на три б,
ну и дела, старуха?..
— Ну и дела, старик!..

Пурга старожилов
любит.
Чует, собачья шерсть,—
мрачные эти люди
ценят в ней то, что есть.
И все же обидно старой:
всю жизнь
наяву, во сне,—
у гастронома
с тарой
гудеть на одной струне,
а к людям ломясь без стука,
заведомо лишней
быть...

Все понимает, сука,
и продолжает
выть.

Председатель

1

Председатель колхоза
Павлин
Алексей Ионович
сник.
Как на голову летний снег,
на него
нелады
упали.

Покатились цифири вспять
вопреки,
супротив законам,—
не дают человеку
спать,
даже пить
не дают
спокойно.
И теперь он совсем
не пьет,
держит голову в черном теле,
сокрушается:
— В самом деле,
ведь не спали ж мы целый год?
Ведь работали
целый
год!
Так куда же, в рот пароход,
показатели наши
делись?!

2

Алексей Ионович Павлин —
председатель. Железный! — Парень.

А во гневе — с медведем схож,
лишь глаза горят ошалело:
— Нету друга, в рот пароход,
одиночество одолело.

Я ж в колхозе один, как перст,
среди пьяниц и шалопаев...

Это, что же, выходит, Павлин?
Ты — трагичная личность, Павлин.
Жизнь тебя обожает, Павлин,
но за логику эту — съест!

3

Далеко-далеко окрест
ни души, ни села, ни города.
И никто здесь не знает голода,
И досыта никто не ест.

И считать бы уж впору хлебом
в заполярном этом селе
белый снег, вперемешку с небом,
остывающим на земле.

Но никто того не считает:
председатель им не велит.

Белый снег над селом витает.
Белый хлеб на прилавках тает.

Председатель чубы листает, —
ажно стон над селом стоит.

И стоит кругом, завывая,
хоть сугробом в нее ложись,
горевая их, снеговая,
непутевая, в общем, жизнь...

4

Тяжело храпит председатель:
уработался — свет не мил.
Самого бы какой родитель
отмутузил
да покормил.
Да уж нет на него управы,
окромя самого себя.
Сам собой, извините,
правит,
самому себе
и судья.

Смех и грех!
Ну, скажи на милость,
ведь какой над собою
суд?
Сам себя он себе
не выдаст,
а другие — не донесут.

Да к тому ж
позапрошлым летом
всех строптивых и заводил
председатель
с «волчьим билетом»

из колхоза
супроводил.

Только
дела тем
не наладил...
...В жарко вытопленной избе
сам с собою,
сам по себе
тяжело
　　　　храпит
　　　　　　　　председатель...

5

Алексей Ионович Павлин —
председатель колхоза...

Барин!
Безраздельный
　　　　　　　　удельный
　　　　　　　　　　　　　　князь!..

— Нахозяйничал, леший?
　　　　Слазь...

Прохожий

Человек уходит в ночь.
— Эй! — кричу ему.— Опомнись!
Я хочу тебе помочь,
позови меня на помощь.
Погоди. Не уходи.
Погаси мою тревогу,
ведь заблудишься один,
человечина, ей-богу!

Все на свете — маята.
Эвон снег — напропалую!
Эти гиблые места
даже сильных не балуют.
Сколько их нашло приют
так вот, в снежной карусели —
уж и счет собаки съели!..
Зря, конечно, люди пьют.

Горе горькой не зальешь.
Спирт скорее душу выест.
Горе можно только вынесть,
а иначе — пропадешь.
Боль мы все в себе несем,
надо только знать дорогу!..

— Вот и дом твой.
Вот и всё.
Человечина, ей-богу...

А. Мифтахутдинову

*

Если б я себя берег,
может, не было б ушибов.
Сто любовей. Сто дорог.
Сто ошибок.

Прорастает борода,
и, отчаянно старея,
ухожу я. А куда? —
Лотерея.

Вон вскипает на ветру
понедельник.
Что мне делать поутру,
что мне делать?

Городить ли свой мирок,
петь ли, тужась,
приходить ли от дорог
в тихий ужас

или, смерив потолок
по затылку,
закатать в горящий лоб
холодинку?..

Понимаю молодых,
ей-богу.
Их сомнения, их
тревогу:

пока искра под сердцем
бьется,

горячо пацанам
живется!

Оттого-то они
ершисты,
обладатели божьей искры.

Обжигаясь,
на пальцы дуя,
негодуют,
но прут, сопя,
чтоб опять,
может быть впустую,
вызывать огонь на себя.

Вы простите им лишний ропот.
Облетит налет шелухи,
и останется личный
опыт,
персональные
синяки!

А покамест кружит прямая —
сквозь пургу
и туман,
и дождь,
сквозь наветы идет
и ложь
несговорчивая,
прямая,
беспокойная молодежь.

*

До бухты Нольда
ровно шестьдесят.
С чаевкой
в два приема одолеем.
И ежели в пути не околеем,
окажется
все прочее — пустяк.

Мороз... Мираж... Торосы...— пустяки!
Едва дойдешь до цели
или метки —
все окупают
путные стихи
и путевые, беглые заметки.

От Биллингса до Нольда — шестьдесят.
А не дойдем —
любимые
простят.

Финал

Закругляться пора. Не в отпуске!
Возвращенье — страшней всего.
Слышу гневное:
— Что за фокусы!
У-ми-рать? А еще чего!..

(То ложится на эти опусы
тень бухгалтера моего.
А у нашего стража фирменного
чувство юмора атрофировано,
есть немного, но не для всех,
да и то она прячет в сейф...)

— Добрый вечер, Вера Трофимовна!

Сочиняю отчет авансовый,
цифры путаются в уме.
Очень я беспокоюсь о вас. А вы
беспокоитесь обо мне?

Я отнюдь не попал в бездельники,
но признаюсь, как на духу:
плакали
ваши денежки...
Тьфу!

Все, как есть, прокатал на рифмах,
прошептал на новых стихах,
плавая
в ваших
тарифах,
как тундра в майских снегах.

Вы скучали,
телеграфировали
столько молний в меня и гроз!
Но ведь я не листочки фиговые, —
цикл
лирический
вам привез!

И простите меня, пожалуйста,
по причине хотя бы той,
что стихи эти здесь
прилагаются
до последней в них
запятой.



ОСЕННИЕ ПИСЬМА 2

Сентябрь. Тема с вариациями

1

Проснись со мною на заре,
проснись и затаи дыханье,
и слушай лета затуханье
в сгоревшем пне, в замшелом камне...
В такую пору в сентябре
природа говорит стихами.

О, как чисты ее уста
и как звучанье в них бездонно
от придыхания до стона!..
Сравненья лучшего достойна,
ступает медленно с холста,
как Рафаэлева Мадонна,

заря — ты чувствуешь? — заря!
Иди ж по скошенному лугу,
отдайся зрению и слуху...

. . . .

Я на излете сентября
лечу горючую разлуку.

2

Гуси. Гуси летят. Улетают.
В чьи-то мысли влетают и тают,
как снежинки текут по стеклу.

А сентябрь колесит по селу,
на лету поджигает осины
и стучит листопадом по рамам...

Это ты или клекот гусиный —
телеграфом по огненным ранам?

О, как больно твоим телеграммам!
Тем не менее — слышишь? — гуси.
Тем не менее — видишь? — осень

по сердцам, областям и странам
куролесит, срывая крыши,
без особых на то усилий...

Не пиши мне. Пожалуйста. Тише!
Слышишь — клекот гусиный.

3

Не грусти. Ниспаданье листа
обещает симфонию всплеска...
Слышишь — горечь слетает с лица
упоенного осенью леса.

И всю ночь меж деревьев его,
на струнах обнажившихся веток
воспевает свое естество
подгулявший на радостях ветер.

Не грусти. В этой осени — я.
В этой осени, в этом круженьи
обнаженная сущность моя
в музыкальном ее выраженьи...

4

Гостеприимен дом — спасибо чаю,
а холоден — так грош цена вину.
Но в том, что я отчаянно скучаю,
я никого сегодня не виню.

Усатый чай над чашками дымится,
веранда сходит в росную траву...
Я восемь лет на Севере живу,
а здесь все так же медлится и длится.

Все тот же чай. Вишневое варенье.
Знакомые деревья у шоссе.
И прежние, сквозные акварели
в безмолвно остывающей росе.

По родине, ну где не заскучаешь?
Но воротясь к ней, в тишине берез
все что-то подмечаешь, отмечаешь,
да так, что душу за душу берет!

И хочется хоть в чем-то усомниться,
непонятым оставить до конца.
Но чай себе дымится и дымится,
и древний пес зевает у крыльца.

5

В сентябре на заре —
тишина, тишина.
Луговая трава в серебре,
мурава в серебре,
у отца моего голова в серебре,
лишь моя голова серебра лишена
до поры.
А пока — тишина, тишина.
Лишь она
да щемящее пенье косы,
да от соли звенящая майка отца:

— Отстаешь, сынок, веселей коси,
на деревне, чай, вырос, кажется!..

— Ты прости мне слабость мою, отец,
не скрываю, ладони мои горят,
щеки жаром горят, словно девки корят.
Да, не вышел из сына лихой косец.

Не помощник по дому я твоему.
Просто, дань любви отдаю ему.

В том краю, в той стране, где поэтов растят,
я другое искусство любви постиг:
ты, отец, над селом поднимал — стяг,
я, отец, над пустынею поднял — стих,—

белый снег, белый ветер и белая грусть
отбелили загар на ветвях моих рук.

6

Белый снег, белый ветер и белая грусть,
заметелив дороги, и годы, и лица,
отбелили загар на ветвях мои рук
и вплетут в мои волосы снежные листья.

Стану Дедом Морозом.
Улыбка в усах
постепенно размоет овраги морщинок,
и в попутных машинах
случайные парни
увезут
мою молодость
силу мою
поэзию
в мир своих представлений
о времени нашем,
о нас.

Время
        требует
                жертв.
Мы
питаем и двигаем время,
и любого из нас
ждет за дальней чертой —
забытье.
Жизнь
        стремит
                по спирали
размах
        своего
                ускоренья,
а витки поколений
ложатся
в архивы
ее. .

7

Упаду — не вскрикну,
лишь услышу, как
обнимает скрипку
девушка,

как грохочут МАЗы
на краю земли,
засыпают на зиму
озими:

теплое дыханье,
плотская тоска...
Странная такая
музыка!

Л. Щ.

Осенние письма

1

Расстоянье осмыслить не в силах,
я тебя забываю подчас.
Только помню молчание серых,
недоверчиво пристальных глаз,

помню губы в смятении нервном
между страхом и риском... Увы! —
мне не быть ни последним, ни первым
у твоей осторожной любви.

Но хочу я, чтоб мчал на Хабаровск
скорый поезд опять и опять,
чтобы в тамбуре гулком, как ярость,
я тебя не решался обнять

и, свечением страха и риска
сам лучащийся изнутри,
чтоб просил я тебя: — Говори,
ну, о чем-нибудь — слышишь? — Лариска!..

2

Что тебе рассказать, дорогая?
Наступила пора сентября.
Вся природа стоит догорая,
человеческим светом горя.

И ее полыханьем объятый,
как туман, растворяясь в тайге,
сам не знаю: спешу ли к тебе
или снова иду на попятный?

А тайга, поредевшая за год
километров на десять окрест,
с болью смотрит на запад, на запад,
а точнее, конечно,
на Вест...

3

Отпылали, оплавились листья,
холодком потянуло с реки,
и последние сети, как письма,
опускают в нее рыбаки.

Их вода захлестнула по пояс,
а туман укрывает до плеч.
Меж землею и небом покоясь,
остывает гортанная речь.

И на всем расстояньи — от мола
до ближайшей песчаной косы
лишь раскатистый гул разговора
да тумана седые усы...

Сонет

Среди зимы, в полярной полумгле,
изба моя напоминает остров.
Ее полуразрушившийся остов
о том всю жизнь наскрипывает мне.

Он чувствует биение ветров,
приливы снега, времени теченье,
и тыщу лет, прищурившись хитро,
льет в темноту свечи моей свеченье.

А та — горит, как маячок судам всем,
настойчиво стремящимся к удаче,
заблудшим, затерявшимся во мгле.

И стеарин стеклеет на столе.
И тихо в суверенном государстве
на медленно вертящейся Земле.

*

Грядут ноябрьские метели...
Четыре зимние недели
готовился к концерту лес:
ведь в каждой лиственнице есть
все данные
виолончели.

Вздыхают альты и басы...
Ведь в каждом прутике лозы
и в зябкой веточке березы
поют колымские морозы
на все
концертные
лады.

«Дело было на вокзале...»

Иосиф Уткин



1

Я пришел без опозданья.
Ночь. Перрон. Огни. Зима.
— До свиданья?..
— До свиданья.
Нет, спасибо. Я сама...

— Уезжаешь?.. Уезжаешь...
Что ж, конечно, поезжай.
Ну, подумаешь, ужалишь,
жаль, пожалуйста,
не жаль...

2

Поезд твой в тарелки грохнет,
вздрогнет бронзовый закат,
а кого-то снова тронет
безысходная тоска.

Заскучаю зло и лихо,
весь отбившийся от рук,
как садовая калитка
на декабрьском ветру.

3

И уеду черту в зубы.
Солнцу в зубы — на восток.

Чтобы стихли пересуды,
чтобы ты вернулась,
чтоб

по следам твоим без спроса тень не рыскала моя!..

4

Улетает
папироса,
темь
разбрызгивая.

*

Не курлычут журавли. Не летят.
Лишь сугробы вдоль по улицам лежат.
Вдоль по улицам метелица метет
третьи сутки. Третий месяц. Третий год.

Белорыбица колотится об лед,
плавниками затухающими бьет,
иней белый покрывает чешую...
Кто там любит лебедь белую мою?

Улетела лебедь белая на юг,
где неделями метели не поют,
переметы вдоль по рекам не лежат,
рыбаки подледной ловлей не грешат.

Нарожает лебедиха лебежат,
с новым выводком воротится назад,
чтоб увидеть, как у проруби об лед
лебедь крыльями израненными бьет.

*

О да. Я — полупроводник.
Спиной улавливая взгляды,
отлично знаю,
сколько в них
бессильной злости и досады.

Опознанные! —
на миру
они мне говорят другое
и выдают за дорогое
фальшивое.
Но я беру...

А по ночам безумно ломит кости
от чьей-то глупой
зависти
и злости.

2 А. А. Пчелкин

*

Привязываюсь к людям,
как щенок.
В часы и дни, когда им одиноко,
они меня считают
человеком
и называют попросту:
— Сынок...

Блуждают в шерстке.
Я им позволяю.
Ведь в сущности я на людей не лаю.

Мне даже близок лютый их закон:
за них — в огонь,
и в воду,
и под пули!
Пока тебя опять-таки
не пнули
тяжелым человечьим сапогом.

Чемодан

Я стар. Я брошен. Я раскрыт.
Уж скоро червь меня источит.
Но черной этой крышки
                                        скрип
во мне еще чего-то стоит.

*

Как много сил мы тратим в спорах,
изводим десять раз на дню
сухой и дефицитный порох
на холостую трескотню.

О, состязания рубак,
и хладнокровное:
— Ба-бах!..

— Ба-бах! — на форму зол наводчик.
— Ба-бах! — мысль ранена в живот.
Плетень в тени. Поэты ропщут.
И только критика на ощупь
в тумане собственном плывет.

— Ау-у!..

А истина искусства,
на грех, видна издалека...
Лишь мысль, возведенная в чувство,
диктует музыку стиха.

*

— Любит-не любит...
А мне, бобылю,
каждый лютик
твердит:
— Люблю!

Каждый цветик
в своем окне
кивает,
светит
и верит мне.

И я взаправду
делюсь собой.
Вселяю радость.
Врачую боль.

И чья промашка,
чья в том вина:
что ни ромашка —
моя жена.

Ах, как нелепо
у нас
с тобой!..
Щедрое лето.
Чужая любовь.

А. Черевченко, студентам Литинститута



Мы влезаем в троллейбус хором,
оголтелая стая, ч-черт!
И взирая нам вслед с укором,
за окошком Москва течет.

Мы — студенты ее. Писатели!
Нам доступны любые миры...
— Две копеечки не бросайте,
будьте добры!..

А народу в вагоне — с верхом,
или, как говорит Вадим:
«Понапихано человеков,
что в селедочницу
сардин...»

Нам легко с ним пилось и пелось,
он стихами насквозь пропах,
вечно плавает откровенность
на смешливых его губах.

Не успев оторвать билеты,
он толкает меня:
— Смотри!
Ну и девочка,
ну и ленты,
ну и сайки, черт побери!..

Я гляжу:
посреди вагона
с хлебной сеточкою в руках

то ли девочка,
то ль икона,—
ах,

ленты-бантики! Елки-палки!
Да какого же мы рожна?..
Но Вадим обрывает:
— Парни,
нас — двенадцать,
она — одна...

Что ж, покамест плывет троллейбус,
мы блуждаем не в дебрях лент.
Мы решаем насущный ребус:
сколько стоит
весь ее...
хлеб!

Но косички ощерив люто,
щуря синий колючий глаз,
абсолютно
недружелюбно
эта птичка косит на нас.
И хоть Вадька отпетый циник,
но под взглядом ее, сопя,
достает из штанов
полтинник,
чертыхается про себя:

«Ах, мадамочка,
ваши сайки
разорят нас в тартарары...»

— Две копеечки не бросайте,
будьте
добры!..

*

Белы тротуары. В раздумье
подъезды погружены.
Морская нелепица дует
с нагаевской стороны.

На башни, коньки и порталы,
на плечи и этих, и тех
тяжелый, сырой и усталый
ложится декабрьский снег.

Ничто меня лучше не лечит
нелепой его кутерьмы.
Смотрите, как искренне лепит
он временный облик зимы,

как умно и как непритворно
слепое его мастерство.
И странно — готовые формы
ничуть не смущают его...



Замазывают окна. Гражданин
в зеленой шляпе, в бежевом пихоре,
в протяжных флагах розовых штанин
въезжает в осень, сидя на заборе.

Он курит. И тяжелые слои
плывут над ним. Окурок догорает.
А он сидит и словно догоняет
несбывшиеся помыслы свои...

*

Я на уроках рисованья
писал стихи,
не уставая.

Меня секли. Меня учили.
Не получилось.
Исключили.

Презрев пророческие речи
и сердца дробный перестук,
я взял тогда себя за плечи,
привел и сдал в Литинститут.

Но, словно сваленный недугом,
лишь тем себя и врачевал,
что не о женской рифме думал,
а — рисовал.

— Дурак! — сказал после изгнанья,—
ведь это рок твой —
рисованье.

Вот — холст.
На раму натяни.
Вот — кисти. В солнце окуни.
Вот — слово.
На — его, рисуй!
А в печку голову не суй...

Косовица

Распоясаю рубаху,
закатаю рукава
и с размаху,
и с размаху:
                    р-раз-два,
                                  раз-два!

Поддай, косарь,
острей, коса,
жарь,
        жарь,—
ас-са!

Нажимай, плечо,
нажимай, рука,
еще,
      еще,—
ну-т-ка!

Резвей, краса,
Вот это коса:
    чуть касается —
          не остановиться.

Налегай, красавица,
ну и косовица!
С такой косой
да с твоей красой
по лугу ли,
                  по лесу —
до самого б
полюсу!..

Июнь

Я вам сочувствую. В июне
у ваших градусников — жар.
А здесь еще бушуют вьюги,
снега целинные лежат.

В броню закованные реки
тихи. И, чуя вешний зуд,
еще таятся и в секрете
скрывают взбалмошную суть.

А впрочем,
вашей горной спеси
немного в них. Опричь весны,
они и летом, словно песни,
протяжны и отрешены.

Сойди на берег. Встань и слушай,
как властно исподволь они
переворачивают душу
незримой силой глубины...

Я понимаю: в дальних странах,
едва мечта теряет нить,—
есть все, что поздно или рано,
а все же можно сочинить.

Но в час полуденного спада
оставьте ваши берега.
В хрипящей пене водопада
представьте здешние снега,

снега,
мой дом с окном на юг
и полыхание метелей —
и вы получите
и ю н ь
шестидесятых параллелей.





3

Да не столь перезвоны
Колокола,
Сколь в сердцах перезвонны
Былые дела...

Василий Каменский

ПОГОРЕЛИЦА

Вступление в историю. Плач

ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

1

У Никифора
жена —
сатана.
У Никифора
забот —
полон рот.
Бедность
старого
Никифора
за шиворот
берет
и цепляется
за полы
зипуна.
Укажи нужде,
Никифор,
от ворот
поворот,
сатану жену
вожжами
— по плечам! —
полечи,
полощи ее,
родимую,
пущай
поорет,
мужики, они в семье
отродясь —
палачи.

Поищи, Никифор,
заработок
в той
стороне,
где
мозоли твои
купят
по сходной
цене,
где
фабричные,
кирпичные,
зловещие
в ряд
в небо трубы
горемычно
пылят.
Что терять-то?
Ни кобылы,
ни быка
во дворе.
Стены рваны,
а уж крыша —
так дыра на дыре.
Добра к детворе
станет мать семьи...
Господи,
благослови!
И тут —
кабала.
И там —
кабала.
Да, единственный выход:
была не была...

2

А кулак-от
погореловский
Андрей Абрамов сын
о ту пору
на деревню
уж движок
завозил.
За-во-дил! —
движок,
да соляру
жег,
вкруг механиков
немецких
егозой
егозил,
недоверчиво ощшупывал:
жидок
ремешок
для осьмнадцати
железных
лошадиных
сил.
Чай,
зерно молоть —
не языком молоть!..
— Эй, Натуська!
А неси-ка сюды, девка,
каравая ломоть,
да Сашиху кличь —
пусть увидит мать,
куды
деньги утекли,
туды их мать!..

3

Не спеши, Никифор,
фабрике
мозоли продавать,
у хозяина
холеный
интерес.
Зря, конечно,
мужичок,
ты, как Расея,
простоват,—
в кабалу бы
опрометчиво
не лез.
А ушел бы в лес,
на сосенку б влез,
положил бы на восход
православный
крест,
тронул пятками босыми
вечернюю синь:
— Во имя отца и сына
и святаго духа,
аминь!..
Выпили б фабричные по шкалику
во упокоение души:
— Скромный мужик был
Никифор...
— Вечная слава
покойнику...
— Какая там слава —
удавленнику?..
— Огурчики нонеча
хорош-ши!..

4

Было — сплыло. Было — не было. Быльем поросло. С городских паев вернулись мужики на село. Воротились, окаянные, пропащие, — бельзином пропахшие, угрюмые, тощие, щетиной по самые уши обросшие.

—...Я его, лешего, целовать в щечки, а из него, ровно из бочки, деготь — не деготь, трогать — не трогать. Уж и поголосила за его, за сукиного сына!

—...Однако же думаю: стой, сопливый, да свой, слава богу — живой. А что пришел без денег, так ведь пропил, бездельник, — а это нам не впервой...

—...А я своего, бабоньки, уж и отмывала-отстирывала, да молочком отпаивала, в баньке отпаривала, старые заплаточки отпарывала — новые нашивала. Уж так я за ним зимушку переживала! Господи, думаю, да сохрани ты раба своего — Ивана, кормильца нашего единого, непутевого да любимого.

— А Василиху,
Василиху-т
Василь
до заводу,
чай, на ручках
не носил?
А из городу
вернулся,
коновал, —
первым делом
по зубам
наподдавал!..

5

А и вой на селе — стон бабий. Воротились не все с заводов и фабрик. Не во всех окнах керосин жгут, не во всех домах мужиков ждут. Кому ночь без сна — разговор без городу, от которого окна — тропка к омуту,
из которого окна — вдовья песня слышна:

— О край села речка,
о край села синя.
Остались при бабе
дочь
и три сына.

Сыновья,
чтоб милостыню
у людей просить.
Дочка,
чтоб у речки
в голос голосить...



4 ЧЕРЕЗ СНЕГА, НАИСКОСОК...

ПЕРЕВОДЫ

Михаил ВАЛЬГИРГИН

(с чукотского)

Охотник на вороньих ногах*

Лыжи весело бегут
прямо на рассвет.
Остывает на снегу
их вороний след.

И поет промысловик,
сжав гарпун в руке,
об охоте, о любви,
о прямой тропе.

О тропе, которой нет
края и конца...
Далеко-далёко след
остановится!

Где вода, вода, вода,
кромка тишины.
Где вороньи ноги уж
больше не нужны.

Лыжи он поставит в снег:
пригодятся впредь! —
Трубку выкурит и нерп
примется стеречь.

---

* «Вороньими ногами» чукчи называют короткие охотничьи лыжи — велвыегыт.

Терпеливо, целый день
будет ждать. И вот —
большеглазая мишень
на него
плывет!

Море штормит

Грохочет о скалы
сердитый прибой.
Бакланы хохочут
наперебой.

Волнуются чайки,
вздымают киты
над волнами моря
фонтаны воды.

Вельботы с добычей
с охоты идут.
Моторы привычную
песню поют.

Стрелок на поселок
наводит бинокль,
а брызги его
омывают до ног.

Грохочет о скалы
суровый прибой:
— С удачной охотой
тебя, зверобой!

Где же!..

Укажи мне путь исканий
на земле и на море.
Где живешь ты? В Уэлькале,
в Нешкане, в Анадыре?

Ведь стремясь к своей удаче,
сердцу не переча,
знаю: так или иначе
предстоит встреча!

Только бы пути-дороги
время не перемело,
только б сердце, только б ноги
судорогой не свело.

Только б взмыл чаат желаний
вслед твоей лодке!..
Кто ты? Где ты? В Канчалане?..
Может быть, и в Канчалане,
в общем,— на Чукотке!

Зима сердится

Пора б старухе на покой,
но, продолжая злиться,
она последнею пургой
грозится разразиться.

Да нету сил. И вместе с тем
все чаще ветры с юга,
все неуверенней рэтэм
раскачивает вьюга.

Ушел апрель и дверь на юг
незапертой оставил...
Вон пуночки уж воду пьют
из лунок и проталин.

Уж солнце сопки достает,
и с их пологой сказки
весь день в стремительный полет
ребята шлют салазки.

Да что там! Это же сама
весна летит к нам в гости!..

...А ночью все еще зима,
зима, зима...
Скрипит зима
всем существом от злости.

Вельботы уходят в море

Вы видели море в работе?..
В кипеньи воды и рулей,
с рассветом уходят вельботы
навстречу удаче своей.

Выходят охотники в море,
не ведая, что впереди.
Натужно утюжат моторы
зеленую толщу воды.

А волны вздымаются круто
и круто срываются вниз,
как будто сам келе,
как будто
все духи свирепствуют в них.

Но мы передышки не просим,
смиренья стихии не ждем,
ведь вон — надвигается осень
и на промысловый сезон,

а нам,
зверобойной бригаде,
еще отстрелять за квартал
все то,
что колхозный бухгалтер
на счетах своих насчитал.

Такая работа. А море —
оно нам не враг и не друг.
Швыряет, конечно.
Но кормит
из этих же взбалмошных рук.

Галина ГОРДАСЕВИЧ

(с украинского)



...И если в дом твой прилетит жар-птица,
не спрашивай ее: — А ты навечно?
А ты меня не бросишь, не оставишь?
Ты больше никому не станешь петь?..
Будь благодарна ей, что прилетела,
что озарила жизнь твою
и душу,
запомни ее радостную песню,
а улететь захочет — не держи.
Вот разве только попроси на память
единственное перышко,
одно лишь
пылающее, жаркое перо...
...И весь свой век храни его под сердцем.

Мой сын уснул

Мой сын уснул,
в пуховую подушку
уткнувшись носом,
темные ресницы,
как крылышки, притихли
над румянцем.
Он спит и улыбается во сне.

Я думаю: что снится тебе, сын мой? —
Котенок, за которым ты вчера

весь день гонялся,
или добрый дядя,
что прокатил на мотороллере,
а может,
тот синий мяч,
огромный и пузатый,
который нам понравился в витрине?

Спи. Спи, сынок.
Я долго буду рядом
сидеть с тобой. А может быть, всю ночь.
Я помечтаю, как ты станешь взрослым
(все мамы в мире думают об этом!),
исходишь мной не пройденные тропы,
закончишь то, что не сумела я.

А может — нет... Ты сам определишь
свою дорогу, цель свою и дело.
Но верю я, что будет оно добрым,
полезным делом. Я могу гордиться
тобою, сын мой. И твои дороги —
я верю — будут прямы, откровенны,
ты будешь сильным, умным, справедливым,
и трудности тебя не устрашат.
А если все же ты отступишь, сдашься
на милость победителя,
а если
ты перед правдой покривишь душою —
я прятаться за спинами людей
не стану.
И не скажу, что ты — мое несчастье.
Я суд людской приму таким, как есть.
Я — родила тебя. Я — воспитала. И я скажу:
— Судите! Я — виной.



Сеется, сеется, сеется снег
полупризрачно, полупрозрачно.
По следам нашим позавчерашним
сеется, сеется снег.

Ой, задумали что-то сады,
ветви белые клонят в смущенье,
не иначе — сулят возвращенье
отступившей весны!

Сеется, сеется, сеется снег.

Содержание

ПЧЕЛКИН Анатолий Александрович

Р 2
П 92

ОТ БИЛЛИНГСА ДО НОЛЬДА... Стихи

Магадан. кн. изд-во 1967. Стр. 64.

Редактор Л. И. Юрченко. Художественный редактор Д. Д. Власенко. Технический редактор В. В. Плоская. Корректор М. Л. Лисичкина. Фотографии В. Н. Шумкова. Сдано в набор 20/X-1967 г. Подписано к печати 15.XII-1967 г. АХ—03785. Формат 70×108/32. Объем 2 физ. п. л., 2,8 усл. п. л., 2,25 уч-изд. л. Заказ 6498. Тираж 10 000. Цена 26 коп. Бум. тип. № 2. Магаданское книжное издательство, г. Магадан, ул. Пролетарская, 15. Магаданская областная типография Управления по печати.

7-4-2
22-67 М

«Говорят, что первая книжка —
как первый прыжок с парашютом:
ни полного ощущения страха,
ни обостренного чувства ответственности.
О Пчелкине этого не скажешь.
Из всего написанного им за пять лет
в сборник вошла лишь
незначительная часть стихов — лучшая...» —
так писал рецензент журнала «Смена»
о первой книге молодого поэта «Берег»,
которая вышла в 1965 году
в Магаданском книжном издательстве.
Минули месяцы напряженного труда,
мучительных поисков точного слова,
яркого образа, свежей рифмы.
И вот — новая встреча с Анатолием Пчелкиным
на нелегком пути «От Биллингса до Нольда...»
Не станем пересказывать
содержание этой книжки —
ее нужно прочитать.

26 коп.

Магаданское книжное издательство • 1967